
В. Е. Ветловская

**ПРОБЛЕМЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЛИЧЬЕ**

(Поединок в драме А. С. Пушкина
«Скупой рыцарь»)

Настоящая статья является продолжением работы, значительной частью опубликованной в предыдущем сборнике «Литература и история».¹ Именно поэтому позволю себе повторить в прежней формулировке некоторые общие положения, важные для анализа маленькой драмы в целом.

С середины 1820-х годов (и чем дальше, тем больше) Пушкина, как известно, занимали проблемы истории. Живейший интерес поэта к процессам, происходящим на Западе, был связан с его размышлениями над судьбами России, дальнейшие пути которой не исключали повторения тяжелого опыта Европы. Тем настоятельнее была необходимость присмотреться к новым веяниям, истинам и идеалам, которые несли миру буржуазные отношения взамен истин и идеалов, утративших былой смысл и отброшенных или отбрасываемых за ненадобностью в груды «предрассудков».

В этой связи в творчестве Пушкина возникает тема денег — кумира нового времени. Их власть, исподволь укреплявшаяся при старом порядке, при новых общественных отношениях становится всеобъемлющей и безраздельной. Ранее мы показали вариации этой темы на примере анализа монолога скупого рыцаря, теперь речь пойдет о заключительной сцене.

* * *

В третьей, и последней, сцене драмы Пушкин заставляет своего героя спуститься с небесных высот, которые он занял в своем «сознании», на землю, или (здесь это одно и то же) заставляет его выйти из тьмы подвала на божий свет. Первая

и последняя сцены, обрамляя центральный монолог, рисуют действительность, чрезвычайно далекую от «возвышенных» и подпольных мечтаний барона.

До того, как в концовке драмы отец и сын сталкиваются лицом к лицу, суть отношений между ними уже ясна. Это отношения глухой и напряженной вражды, где каждая сторона, повинаясь собственным влечениям, не сомневается в своем праве действовать в ущерб влечениям другой.

Нет никакой справедливости, по убеждению Альбера, в том, что он, законный и единственный наследник богатого барона, в расцвете молодости и сил лишен всех радостей жизни, унижен и бедствует, как церковная мышь, тогда как отец чахнет над горами золота, не желая уступить ни одного червонца.

Нет никакой справедливости, по убеждению барона, в том, что сын, не заслуживший трудом и мукой ни одного червонца, домогается золота сейчас и претендует в дальнейшем на все наследство.

Благополучию сына мешает отец. Благополучию отца (мощи и прочности его царства), как кажется, никто и ничто не мешает, кроме той преграды, которую воздвигает любому земному благополучию естественная кончина.

Не страдая старческой дряхлостью или болезнью, не допуская мысли о злодейском обмане (ср.: «При мне мой меч...»), барон не ведает, до какой степени на самом деле он близок смерти, точнее — она ему близка, поскольку она никому не обязана заранее и задолго возвещать о своем приходе. Ведь для того, чтобы царствовать, нужно целое сокровище, но для того, чтобы лишиться и сокровища, и царства, бывает достаточно чужого желания ими владеть.

Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,
То был бы вновь потоп — я захлебнулся б
В моих подвалах верных.

Но захлебнуться можно и без потопы. Довольно трех бесцветных и безвкусных капель в стакане воды, чтобы навсегда перестать дышать. Довольно и того яда, которым скупой постоянно отравляет существование других, чтобы этой отравы вполне хватило на него самого. Поскольку сокровища растут за счет чужого ущерба, избыток греховной любви скупца непременно оборачивается избытком раздражения и ненависти тех, кто от скупца зависит — начиная с сына и кончая последним подданным.

В самом деле: зачем бы Тибо убивать невинных людей на большой дороге, чтобы делиться выручкой с господином, а не убить при случае за соответствующую мзду его самого? Ведь побуждая к преступлению, барон тем самым его разрешает. И было бы справедливым, если бы зло, допускаемое бароном по отношению к другим, обрушилось наконец на него самого.

Барон говорит о «верных» подвалах и сундуках. В их «верности» не было бы никакой нужды, если бы барон не сомневался в людях, ему подвластных. Но, выжимая из их пота, крови и слез проклятые червонцы, он вообще ни в ком не может быть уверен. И понятно. Немилосердно тяжкая дань, которую данники платят скупому, каждому из них достается не даром — и вдове с тремя детьми, и Тибо. В сравнении с ними золото «шутя» и «даром» достается как раз барону. Именно поэтому рост сокровищ в его руках, как и всяких других, не бесконечен. Он имеет пределы.

Не в гордых помыслах и желании скупца, жадность которого неудержима, а в терпении тех, на чьих страданиях и невзгодах он наживает свои червонцы. Следовательно, холм из золотых монет, эта выше и выше поднимающаяся куча, ничем не ограниченная, в принципе, там, наверху, парадоксальным образом оказывается ограниченной снизу. Возмущение доведенных до крайности подданных в любой момент может прервать благоденствие влюбленного в золото мизантропа.

Крепостной люд и слуги барона, разумеется, сочувствуют молодому рыцарю, с которым их связывает общее несчастье. Достаточно сопоставить великодушие Альбера, отдающего последнюю бутылку вина больному кузнецу, и жестокосердие его отца, мучающего бедную вдову на виду у всех, чтобы результат этого сопоставления был не в пользу скупого. Не случайно Альбер ведет рискованный разговор с ростовщиком при слуге — видимо, нисколько не опасаясь, что тот его выдаст. Поскольку глубокое презрение к чужим нуждам и страстям, беспощадная требовательность барона распространяются на всех, включая родного сына, неудивительно, что тот, однажды потеряв терпенье, точно так же не видит оснований щадить отца.

Таким образом, не трех, но и одной капли (той самой, которая переполняет чашу терпения) может хватить, чтобы скупец уже никогда не сумел перевести дух и оправиться от самого страшного ущерба. Ср.:

Иван.

У нас вина —
Ни капли нет (...)

Альбер.

⟨...⟩ Так дай воды. Проклятое житье!
Нет, решено — пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

И затем:

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б жалобы моей не услышали.

Герцог.

Я верю, верю: благородный рыцарь,
Таков как вы, отца не обвинит
Без крайности. Таких развратных мало...

Жалоба на отца, желание найти на него управу бесчестят и барона, и Альбера. Считая нужным заметить это опрометчивому сыну, вольно или невольно унижающему фамильное достоинство, герцог собирается тихо потушить конфликт, опираясь на авторитет собственной власти и давние дружеские связи барона с герцогским домом. Они не дают барону повода заподозрить в словах и поступках государя ни враждебного умысла, ни какой-нибудь сторонней цели; напротив, убеждают в искренней заботе герцога о благополучии всех, кто Божией милостью вверен его попечению:

Спокойны будьте: вашего отца
Усовещу наедине, без шуму.
Я жду его. Давно мы не видались.
Он был друг деду моему. Я помню,
Когда я был еще ребенком, он
Меня сажал на своего коня
И покрывал своим тяжелым шлемом,
Как будто колоколом. (*Смотрит в окно.*)
Кто это?

Не он ли?

Альбер.

Так, он, государь.

Герцог.

Подите ж

В ту комнату. Я кликну вас.

Заключительная сцена драмы — сцена суда. Альбер здесь — истец, его отец — ответчик, а герцог, которому они оба обязаны вассальным повиновением, играет роль судьи и

примирителя в семейной распре. Ведь только в собственном подполье и «возвышенных» мечтах барон никому не подчинен и вознесен над миром, в действительности он занимает определенное место в строгой иерархии феодальных отношений, где он и властвует, и подчинен; и правит, и управляет:

Барон,
Я рад вас видеть бодрым и здоровым.

Барон.
Я счастлив, государь, что в силах был
По приказанью вашему явиться.

Рыцарь не смеет ослушаться герцога, чья власть заметно сокращает размеры его господства — до объема, узаконенного обычаем и официально признанным порядком. Это господство не выходит за границы феода — поместья или поместий, даруемых сеньором своему вассалу в наследственное владение за те или иные (обычно воинские, бранные) заслуги. Все богатство барона, приобретенное слезами, потом, кровью крепостных, и вся его власть (явная, ограниченная, и тайная, не считающаяся с ограничениями) основаны на феодальных правах, пожалованных ему и его предкам покойными представителями герцогского рода, державные привилегии которых наследует правящий герцог.

Господство барона даже в границах собственного феода не безусловно: феодальные права жалуются при условии исполнения известных обязанностей. Они вытекают из понятий о чести, требующей от вассала беспрекословной верности сеньору, желания разделить его труды, радости и скорби, готовности с оружием в руках защитить его имущество и верховное достоинство, освященное церковью и Богом, жертвуя при необходимости собственным благополучием и жизнью.

Начав беседу с предыстории их отношений, герцог прикровенно, но недвусмысленно напоминает барону о его былых заслугах, о милостях, оказанных ему герцогским домом (поскольку дружба деда и уважение отца нынешнего государя, разумеется, выражались в особом предпочтении, в пожалованиях и наградах), а вместе с тем — и о вассальных обязанностях, от которых рыцаря никто не освобождал:

Давно, барон, давно расстались мы.
Вы помните меня?

Барон.
Я, государь?
Я как теперь вас вижу. О, вы были
Ребенок резвый — мне покойный герцог

Говаривал: Филипп (он звал меня
Всегда Филиппом), что ты скажешь? а?
Лет через двадцать, право, ты да я,
Мы будем глупы перед этим малым...
Пред вами, то есть...

Живой, насмешливый ум и находчивость герцога видны из того, как он ведет разговор, являющийся одновременно осторожным допросом: наряду с полнотой политической и административной власти герцогу принадлежит и право суда (милости и казни).

Герцог.

Мы теперь знакомство
Возобновим. Вы двор забыли мой.

Барон.

Стар, государь, я нынче: при дворе
Что делать мне? Вы молоды; вам любы
Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь. Бог даст войну, так я
Готов, крихтя, влезть снова на коня;
Еще достанет силы старый меч
За вас рукой дрожащей обнажить.

Барон не знает о намерениях герцога, на всякий случай спешит задобрить его грубоватой лестью, оправдаться в долгом отсутствии и заявить о своей готовности в ратном деле, то есть собственной кровью, доказать неизменную преданность государю. Он надеется, впрочем, что такие доказательства не понадобятся, что вместо дела герцогу достаточно будет слов, соблюдения внешней формы. Подчеркивая и преувеличивая свою немощь, барон хитрит: и набивает себе цену, и старается уйти от обязанности. Ведь в подвале, когда у него мелькнула мысль не о защите государя, а о защите своих сундуков, его рука не дрожала. Но герцога устраивают эти заявления преданности и слишком простодушная хитрость:

Барон, усердье ваше нам известно;
Вы деду были другом; мой отец
Вас уважал. И я всегда считал
Вас верным, храбрым рыцарем — но сядем.
У вас, барон, есть дети?

Барон.

Сын один.

Герцог.

Зачем его я при себе не вижу?
Вам двор наскучил, но ему прилично
В его летах и званье быть при нас.

Герцог называет причину, побудившую его вызвать к себе барона. Вопрос о сыне и желание герцога видеть Альбера при дворе — самое неприятное, что барон хотел бы и приготовился услышать. Похоже, как ни странно, он вообще не ожидал ни этого естественного вопроса, ни этого повеления (ибо желание, выраженное государем, для вассала закон); иначе он, хорошо зная обычаи двора (ср.: «Вы деду были другом; мой отец Вас уважал»; «Вам двор наскучил...»), не забыл бы произнести и в данном случае формулы придворного этикета.

Чтобы исполнить волю герцога, от барона не требуется героических усилий, ему не нужно, кряхтя, садиться на коня и облачаться в старые доспехи. Все это легко, без усилий мог бы сделать сын, упоминание о котором сводит на нет высокопарную и взывающую к сочувствию тираду.

Оставаясь благожелательным и внешне невозмутимым, герцог в душе, конечно, посмеивается над стариком. Неизвестно, какие чувства к барону вынес он из детских лет, но несомненно, что сейчас, по прошествии долгого времени, герцогу приятно явиться перед старым рыцарем во всем блеске мужества и дарованного Богом и природой превосходства. Не исключено, что по свойственной ему «резвости» он не прочь соединить приятное с полезным и, пользуясь удобной ситуацией, несколько поразвлечься, ведь он молод. Если Альбер подслушивает разговор (а он его подслушивает), то на замечания герцога после тирады барона он тоже должен был бы усмехнуться, хотя и с меньшей веселостью, поскольку какой бы добродушной насмешка ни была, она все-таки касалась его отца и слишком болезненных отношений между ними.

Но желание государя приблизить к себе Альбера серьезно. Это большая честь, означающая прежде благоволение правящего дома к верному вассалу, за которое рыцарь обязан был благодарить. Однако барон опускает приличные случаю формулы благодарности: новая милость для него хуже наказания. Барон предпочел бы, чтобы за давностью лет герцог так же забыл о нем, как он о герцоге.

Но герцог, в отличие от забывшегося барона, не потерял память; ср.: «Я помню, Когда я был еще ребенком...», а также: «Вы помните меня?», где это «помню» и «помните» относится не к конкретным подробностям давнего знакомства, как это воспринимает барон («Я, государь? Я как теперь вас вижу. О, вы были Ребенок резвый...»), но главным образом и прежде всего — к иерархической разнице положений высокого сеньора, несмотря на молодость призванного повелевать, и вассала, обязанного, несмотря на старость, повиноваться.

Поставив (с помощью Альбера) гордого барона в положение смиренного ответчика, герцог заставляет его при этом возобновленном знакомстве убедиться в справедливости льстивых слов, сказанных стариком (как государь понимает) без всякой веры и убеждения: «Лет через двадцать, право, ты да я, Мы будем глупы перед этим малым...»

Что должен был отвечать герцогу барон, если бы он говорил с той откровенностью и прямоотой, какие требуются от рыцаря и вассала? Это ясно из предыдущего. Барон знает, что желание государя видеть Альбера при дворе совпадает с желаниями сына. Но именно этих желаний, как, впрочем, и любых других, за одним известным исключением (добывать, беречь и копить деньги), скупой не одобряет. Для него они означают необходимость (ввиду постоянных и значительных расходов на содержание) уже сейчас, т. е. раньше времени и срока, уступить сыну часть богатства, тогда как барон не собирается ему уступать никогда и ничего вообще. Но как он может сказать герцогу, что не пускает к нему сына и держит его при себе, как самое дорогое сокровище, не потому, что ему дорог сын, а потому, что и малая часть сокровища ему дороже сына? Да если бы даже барон и в самом деле дорожил единственным сыном больше, чем золотом, он все равно не мог бы отказать государю.

Не говоря уже о воле герцога, которая при всех обстоятельствах для рыцаря должна быть непреложной, такая чрезмерность отеческой любви, разумеется, не на пользу сыну и стоит черствого и слепого эгоизма. Барон оказался в сложной ситуации. Свое нежелание отпустить сына ко двору он вынужден, не найдя ничего лучшего, объяснить нежеланием сына куда бы то ни было пускаться:

Мой сын не любит шумной, светской жизни;
Он дикого и сумрачного нрава —
Вкруг замка по лесам он вечно бродит,
Как молодой олень.

Но герцог знает, в какой степени это объяснение отвечает истине: вряд ли Альбер часто пропускал (если пропускал) придворные праздники и турниры; в последний раз герцог не мог его не заметить в поединке с графом Делоржем, где Альбер отличился своим геройством; не мог не заметить и за собственным столом, где рыцарь тоже отличился — своим видом, невольной, вероятно, позабавив герцога и его гостей («...я в латах был один За герцогским столом»);² наконец, он только что выслушал сетования Альбера. Герцогу известно, что молодой рыцарь не просто любит светскую, шумную

жизнь, но из-за бедности, вечных стеснений любит ее с некоторым избытком — до «крайности», потому что только эта «крайность» («Во что бы то ни стало, на турнире Явлюсь я») и привела его к государю с жалобой на отца. И если Альбер, обнаруживая дикий, сумрачный нрав, временами и бродит по лесам вокруг замка, то отнюдь не оттого, что окрестные леса ему нравятся больше светских удовольствий.

Но герцог не спешит уличать барона. Вооруженный знанием дела гораздо основательнее, чем подозревает строптивый вассал, герцог готов продолжить игру, задевающую его честь и достоинство, в полной уверенности, что при любых поворотах в этом словесном турнире ему обеспечена победа. Он делает вид, что доверяет словам барона, повторяет приказ и, внимательно следя за реакцией, ближайшим же замечанием касается главного пункта в плохо защищенной позиции противника:

Нехорошо

Ему дичиться. Мы тотчас приучим
Его к весельям, к балам и турнирам.
Пришлите мне его; назначьте сыну
Приличное по званью содержанье...
Вы хмуритесь, устали вы с дороги,
Быть может?

Герцог доволен впечатлением, произведенным метким ударом (словами о «приличном... содержанье»); по-прежнему великодушно и невозмутимо и по-прежнему с тайной насмешкой он сам предлагает барону удобный повод для передышки, столько же правдоподобный, сколько и лживый — в духе тех правдоподобно-лживых объяснений, с каких тот было начал («Вы хмуритесь, устали вы с дороги...»).

Старик не мог не уловить иронию: насмешливое участие, подчеркивающее его слабость, оскорбительно для барона. «Резвый» мальчик, от которого он хотел бы просто отмахнуться, повзрослел.

Барон.

Государь, я не устал.

Однако рыцарь вынужден быть более осмотрительным. Он сознается в минутной слабости, стараясь приискать ей оправдание, не порочащее его чести. Верный избранной тактике, он, обеляя себя, продолжает порочить сына:

Государь, я не устал.

Но вы меня смутили. Перед вами
Я б не хотел сознаться, но меня

Вы принуждаете сказать о сыне
То, что желал от вас бы утаить.
Он, государь, к несчастью, недостоин
Ни милостей, ни вашего вниманья.
Он молодость свою проводит в буйстве,
В пороках низких...

Привыкнув действовать мечом и силой, старый рыцарь плохо владеет (или, может статься, надменно пренебрегает) оружием словесных баталий. Убеждая герцога забыть об Альбере, барон приводит не самый удачный довод: милость потому и милость, что она даруется и по заслугам и вне заслуг, достойным и недостойным, иначе она становится обычной платой.

Что же касается внимания, то на него может рассчитывать любой подданный. Милость — одна из главных добродетелей правящих особ, а внимание — прямой долг государя, ведь он отвечает перед Богом за каждую душу, отданную его покровительству.

Сам того не замечая, барон слишком много на себя берет. Он отнимает у герцога право решать, кто и чего достоин, право миловать или казнить в зависимости от собственных понятий. Внешнее почтение к государю не может скрыть высокомерия вассала, не собирающегося признавать никакой управы — другого мнения или другой власти. Ведь если Альбер и «буйствует», проявляя «низкие» пороки, то именно против отца. И на его взгляд, барон не разъясняет, какой смысл он вкладывает в свои слова и в чем заключаются буйство и пороки сына. Воспользовавшись этой недоговоренностью, герцог вновь легко отражает выдвинутый довод, делая его обоюдоострым: вместо того, чтобы защищать позицию барона, этот довод защищает позицию его противника.

Герцог.

Это потому,
Барон, что он один. Уединенье
И праздность губят молодых людей.
Пришлите к нам его: он позабудет
Привычки, зарожденные в глуши.

Но барону, если бы даже он и хотел, очень трудно что бы то ни было разъяснить. Все его недовольство сыном, как известно, сводится к тому, что, вопреки мнению и желанию отца, Альбер любит праздники и турниры. Но их любит и молодой герцог — наследник покойных государей — одного, который «уважал» барона, и другого, который был его «другом».

Разумеется, то, что барон думает о судьбе своего богатства в руках Альбера, он думает и о богатстве бывших герцогов в руках нынешнего владельца. И, надо сказать, с бóльшим основанием, так как герцог уже распоряжается доставшимся ему наследством, тогда как Альбер еще нет. Ср.:

Я царствую... но кто вослед за мной
Примет власть над нею (державой. — В. В.)? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.

И перекликающиеся с этими словами мотивы:

В последний раз
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате <...>
За герцогским столом.

Затем:

Украл ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет,
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.

Потекут точно так же, как богатства покойных государей уже текут в дырявые карманы тех, кто собирается за герцогским застольем (а оттуда, разумеется, еще ниже). Но открыто осудить этот «разврат» и «разгул» значило бы открыто осудить герцога. Если бы барон был последовательным в своих чувствах и убеждениях, он должен был бы начать осуждение с себя. Ведь пусть не теперь, а раньше он тоже не отказывался от светских удовольствий. Их безумие он уразумел лишь тогда, когда двор ему «наскучил» и сам барон заметно постарел:

Стар, государь, я нынче: при дворе
Что делать мне? Вы молоды; вам любви
Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь.

На самом деле барон должен был бы осудить просто молодость — свою собственную, сына, ныне правящего герцога. Меньшая или бóльшая пышность придворных торжеств прежде и сейчас значения в данном случае не имеет, поскольку «разврат» и «разгул», «расточительность» и «безумство» на-

чинаются для барона с любого, пущенного в ход червонца для удовлетворения не только страстей, но и нужд.

Однако барон не решается открыто обвинить герцога. Вместо того, чтобы наступать, он предпочитает обороняться. На настойчивое повеление прислать сына барон отвечает наконец без околичностей:

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Трижды повторенному приказу герцога соответствует трижды повторенный отказ. Короткие реплики дальнейшего диалога напоминают слова Ивана о разговоре с ростовщиком, не желающим одалживать Альберу деньги: на все нападки герцога, его вопросы и требования барон «кряхтит да жмет-ся», «жмет-ся да кряхтит»:

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Герцог.

Но почему ж?

Барон.

Увольте старика.

Герцог.

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Барон.

На сына я

Сердит.

Герцог.

За что?

Барон.

За злое преступленье.

Герцог.

А в чем оно, скажите, состоит?

Барон.

Увольте, герцог...

Но герцог не отступает, ему мало туманных слов, он требует определенности:

Это очень странно,
Или вам стыдно за него?

Барон.
Да... стыдно...
Герцог.
Но что же сделал он?
Барон.
Он... он меня
Хотел убить.
Герцог.
Убить! так я суду
Его предам, как черного злодея.
Барон.
Доказывать не стану я, хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он моей,
Хоть знаю то, что покушался он
Меня...
Герцог.
Что?
Барон.
Обокрасть.
(Альбер бросается в комнату.)
Альбер.
Барон, вы лжете.

Судя по тому, с каким трудом герцог вытягивает из барона каждое слово, скупому рыцарю нелегко порочить сына: ему мешает либо фамильная честь, либо избыток личной гордыни, униженной необходимостью с кем бы то ни было объясняться, либо то и другое вместе.

Тем не менее, защищая свое сокровище, барон принужден чем дальше, тем больше винить Альбера. Сначала он говорит о его дурном нраве, затем — о низких пороках, затем — о преступлении (покушении на отцеубийство и ограбление).

Восклицание герцога, угрожающее сыну, как «черному злодею», судом и возмездием, не удерживает барона. Сражаясь за свое золото, скупой не останавливается перед самыми страшными обвинениями. Если бы он захотел их продолжить так, как начал (от замечания к замечанию усугубляя вину Альбера), и появление сына его не оборвало, он все равно не смог бы ступить ни шагу дальше: тяжесть покушения на отцеубийство и воровство превосходит любое злодеяние. Обеляя себя и черня сына, барон успел сказать герцогу все, что мог.

В подтверждение сказанному он не собирается приводить никаких доказательств. Впрочем, доказательства здесь не нужны: они означали бы уступку подозрению в возможной лжи, тогда как и тень сомнения в его правдивости для рыцаря непереносима. Вот почему в Средние века, «вплоть до XV столетия, в уголовном процессе не обвинитель должен был доказывать вину, а обвиненный — свою невинность».

Но и оправдания обвиненного не были, строго говоря, доказательством, так как они сводились к очистительной клятве, за которую ручались *consacramentales* — друзья, обязанные в свою очередь поклясться, что обвиненный не способен на ложную присягу.³ Предполагалось, что слово рыцаря соответствует его внутреннему убеждению, а это убеждение — делам и фактам. Ср.:

{...} Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?⁴

Итак, будучи обвиненным, скупой рыцарь сам выступает обвинителем; Альбер, напротив, будучи обвинителем, оказывается обвиненным. Каждый из участников тяжбы в конце концов играет одну и ту же роль — обвинителя и обвиняемого вместе. Но сходство отца и сына глубже. Оно не ограничивается внешней стороной и уходит в существо дела. Однако где тут истина? и кто прав?

Заметим, что лишь в слабейшем из упреков, касающемся нрава Альбера и излюбленных его привычек (слабейшем потому, что нельзя карать за нрав, который человек получает от природы и который укрепляется или изменяется благодаря обстоятельствам и воспитанию), барон лукавит. Более серьезные обвинения он высказывает в полном согласии со своими убеждениями. Следовательно, вопрос не только и не столько в том, лжет или не лжет барон, пороча сына, сколько в том, истинны или ложны убеждения, заставляющие его это делать. Но в эти убеждения, связанные с тайнами его сундуков и подвалов, барон никого не посвящает.

Читателю, однако, они известны. Согласно логике барона (вторая сцена драмы), любое покушение сына на самую малую толику сокровищ есть покушение на ограбление, а если учесть, что в этих сокровищах прячется и душа скупого отца, то желание сына завладеть каким-нибудь червонцем равносильно также покушению на убийство. Ограбление и убийство или убийство и ограбление здесь неразделимы. По убеждению барона, Альбер, мы знаем, не может получить ни целого сокровища, ни единого золотого иначе, как через

преступление: ведь в отличие от отца он ничем их не заслужил — ни долгим воздержанием, ни душевной мукой. Но так ли это?

Разумеется, нет. Всякий червонец из сундуков отца, да и все наследство, Альберу тоже достается не даром. Вопреки мнению барона, сын платит за них той же монетой — душевной мукой и воздержанием. Ср.:

Я спрашивал вина.

Иван.

У нас вина —
Ни капли нет (...)

Альбер.

Да, помню, знаю...
Так дай воды. Проклятое житье!

И ранее слова Альбера об отце:

(...) В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит...

По-видимому, точно так же не спит, как и Альбер, иначе откуда сыну известно, чем занят отец ночью. Разница лишь в том, что страдания и самообуздание барона добровольны (они не мешают его «пирам», он сыт и пьян, оставаясь на воде и корках), а страдания и самообуздание Альбера (те же подавленные желание, тяжелые думы, дневные заботы, бессонные ночи) навязаны ему отцом, они вынуждены.

Но любой запрет подогревает желание, и любое принуждение умножает муку. Тем более, что в глазах Альбера этот запрет и принуждение не имеют оправданий: они вызваны позорной слабостью отца, заглушившего в душе живые чувства и забывшего из-за порочной страсти свой долг перед людьми и Богом.

Таким образом, даже следуя «подпольной» логике барона, нужно признать, что у Альбера (при всех уступках запретным для него порывам) достаточно оснований претендовать и на любой червонец, и на все наследство. Не только по праву родства, но и по праву «выстраданности» наследуемого богатства. Ведь отец дарует сыну жизнь, будто дает ее взаймы, тотчас начиная взыскивать за этот дар обременительную мзду в виде тягостного отречения от естественных нужд и желаний.

Не вина Альбера в том, что эти нужды и желания, соответствуя его возрасту и званию, далеко превосходят потреб-

ности какой-нибудь ютящейся в подполье мыши, поскольку молодой рыцарь так же не волен в выборе своего социального положения, как и в выборе лет.

Но барон не видит необходимости считаться с запросами сына и с ним самим. В самом деле: от Альбера еще меньше проку, чем от «ленивца» Тибо, — никакого дохода, одни убытки. Лишая сына приличного и возрасту, и званью содержания, барон заметно обрезает его жизнь. Вместо молодости, всех ее благ и наслаждений скупой отец предлагает Альберу уже теперь безрадостную старость.

Барон не просто покушается обокрасть сына (а покушение на воровство — самый сильный довод в обвинениях скупого), он его уже обворовывает. В обмен на призрачное существование, уготованное им сыну, он хотел бы отнять у него реальное богатство юных лет.

Между тем молодость Альбера — не что иное, как канувшая в прошлое молодость барона, которую тот провел при герцогском дворе, среди бранных радостей и тревог, среди пиров и рыцарских турниров. Барон наслаждался блестящей светской жизнью вполне — до усталости и скуки, до пресыщения.⁵ Ср.:

Барон.

Стар, государь, я нынче: при дворе
Что делать мне? Вы молоды, вам любви
Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь.

А также:

Герцог.

Зачем его я при себе не вижу?
Вам двор наскучил, но ему прилично
В его летах и званье быть при нас.

Не решаясь прямо обвинить молодость (свою, Альбера, правящего герцога), барон, сам того не сознавая, в действительности обвиняет собственную старость. Вся его обличительная речь, направленная против сына и справедливая лишь при условии изъятий и оговорок, в каждом пункте обличает его самого.

И впрямь: именно барон (а не Альбер) «не любит шумной, светской жизни»; «он дикого и сумрачного нрава»; «вкруг замка» и подвалов «вечно бродит»; не признавая Бога и людей, остаток дней своих «проводит в буйстве, в пороках

запного появления, помешавшего герцогу продолжить словесный турнир, у государя не было повода скорее, чем сыну, доверять отцу. Ср.:

Я верю, верю: благородный рыцарь,
Таков как вы, отца не обвинит
Без крайности. Таких развратных мало...
Спокойны будьте: вашего отца
Усовещу наедине, без шуму.

Уклончивая, спотыкающаяся речь барона не располагала в его пользу. При внешнем почтении в ней ясно усматривалось упрямство заносчивого вассала, не желающего повиниться. Начав с довольно невинной (но явной для герцога) лжи и затем уже серьезно пороча сына, скупой рыцарь лишь разоблачал себя.

Не могла не позабавить герцога и реакция барона на упоминание о приличном для Альбера «содержанье» («Вы хмуритесь...»), и смешная последовательность обвинений, при которой покушение на воровство страшнее покушения на отцеубийство.

Но если бы Альбер и в самом деле хотел убить и ограбить отца, ему незачем было бы являться к герцогу с просьбой о помощи и распространяться насчет своих нужд и враждебных отношений с бароном. Ведь такие признания в известном случае (в случае смерти барона) — уже улика (ср. мотивы первой сцены: сначала отказ Альбера отравить отца и сразу после этого — решение отправиться к герцогу).

Поскольку государю ясно, чем вызваны обличения барона, ему не составляло никакого труда, придерживаясь прежней линии и руководствуясь логикой, которая делала каждый довод скупого обоюдоострым, обратить их против сказавшего, чтобы затем воззвать к его совести — обязанностям отцовства, чувству справедливости и рыцарской чести, требующей подчинения заповедям христианской морали, писаным и неписаным нормам иерархического феодального порядка. Ведь помимо удовольствий светской жизни барон лишал сына возможности славы, реальных милостей и наград, которыми Альбер был бы обязан лишь самому себе.

И достоинство державного правителя, и интересы власти склоняли герцога на сторону Альбера. Не пуская сына ко двору, скупой не только оскорблял государя, но и наносил ему прямой ущерб: в нарушение давней традиции и вассальных обетов барон отнимал у герцога возможного друга, храброго, верного рыцаря, опору трона и государства — все то,

чем удалившийся на покой старик был для деда правящего государя и его отца. Ср.:

Барон, усердье ваше нам известно;
Вы деду были другом; мой отец
Вас уважал. И я всегда считал
Вас верным, храбрым рыцарем <...>
У вас, барон, есть дети?

Ведь как раз потому, что герцог хотел приблизить к себе молодого рыцаря, он и приказал явиться ко двору старому барону.

Но герцога опередил Альбер. Обвинение в покушении на воровство и для него оказалось более сильным, чем обвинение в покушении на отцеубийство. Благодаря неожиданной-негаданной «услуге» Альбера, герцогу не пришлось напоминать старику о долге отца и вассала, о справедливости и рыцарской чести. Об обязанностях и правах, справедливости и чести барон вспомнил сам. Не для того, однако, чтобы, почувствовав угрызения совести, осудить себя и примириться с сыном, но для того, чтобы осудить и наказать Альбера.

Герцог (сыну).

Как смели вы?..

Барон.

Ты здесь! ты, ты мне смел!..
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

Альбер.

Вы лжец.

Поскольку барон не хочет и не может ни уступить Альберу, ни доказать своей правоты, ему ничего не остается, как бросить сыну вызов.⁶

Барон.

И гром еще не грянул, Боже правый!
Так подыми ж, и меч нас рассуди!
(Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.)

Альбер.

Благодарю. Вот первый дар отца.

Если отвлечься от той связи, которая кровными узами соединяет барона и Альбера, то разрешение вопроса чести с помощью меча — в духе и правилах рыцарских отношений. В тех случаях, когда обвиняемый не мог произнести «очисти-

тельной клятвы», подтвержденной ручательством своих друзей, «оставался Божий суд, обычно в виде поединка — обвиненный должен был себя очистить, „смыть с себя навет”. Вот откуда берет начало понятие „смыть обиду”. {...} Этим объясняется глубокое возмущение, неизменно охватывающее „людей чести” при обвинении их во лжи и заставляющее их требовать крови {...} Средневековый уголовный процесс имел и более краткую форму (без «очистительной клятвы» обвиненного и его друзей. — В. В.): обвиненный отвечал обвинителю: „Ты лжешь”, после чего прямо назначался суд Божий; поэтому-то рыцарский кодекс чести предписывает в ответ на обвинение во лжи тотчас же вызывать на поединок».⁷

Смысл Божьего суда (средневековой ордалии) и имеет тот поединок, на который барон вызывает Альбера. Исход поединка в этом случае означает Божье решение, безусловную истину или ложь, высшее одобрение или порицание столкнувшихся сторон.⁸

Ведущая роль в этом столкновении принадлежит отцу. Барон взывает к справедливости небес («И гром еще не грянул, Боже правый!») в момент величайшего кощунства. Что было «виною» его негодования, оскорбленных рыцарских и отцовских чувств? То же самое, что было «виною» геройства Альбера в поединке с графом Делоржем. Скупость. На вершине воздвигнутого им холма, подобно древнему Аврааму (но исходя из совсем других соображений), скупой рыцарь уже не только в помыслах, но в действии готов принести в жертву единственного сына. Ср.: «Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! {...} возьми сына твоего, единственного твоего {...} и пойдя в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор {...} И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему {...} вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли *далее* оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! {...} не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо

[Исаака], сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире (Господь усмотрит). Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится» (Быт. Гл. 22. Ст. 1—14).

Жертвоприношение Авраама — свидетельство покорности Богу и столь глубокого благочестия, что оно отметило патриарха печатью исключительной праведности. «И не изнемог Авраам верою (...) когда повелено было ему принести сына в жертву, то он хотя и слышал слова: *во Исааке наречется тебе семя* (Быт. 21, 12), однакоже принес было сына своего единородного Богу, в той уверенности, что Бог силен и *из мертвых воскресить его* (Евр. 11, 19). Связавши сына и возложивши на дрова, своим произволением принес уже его в жертву; но по благодати Бога, и Который вместо чада дал ему агнца, опять получил живым сына. Будучи верным и в других случаях, Авраам запечатлен был, как человек праведный...»⁹ Исаак не отличается от Авраама: он так же покорен отцу, как тот покорен Господу Богу.¹⁰

Никакое повеление свыше не требовало от барона жертв. Его жертвоприношение — последнее звено в цепи тяжелых преступлений. Оно свидетельствует о закоренелости порока и высшей степени нечестия. Авраам, повинувшись Божьей воле, вместо сына заклал агнца, чья кротость напоминала кротость Исаака; барон, действуя по собственному разумению, вместо «молодого оленя» (жертвенного животного древних язычников)¹¹ не прочь заклать своему идолу (богатству) родного сына.

Воруя у Альбера молодость, барон готов отнять у него жизнь вообще. Парадоксальная ситуация (но жанр трагикомедии предполагает парадоксы, указывающие смешную сторону в явлениях весьма серьезных): для доказательства рыцарской чести («...иль уж не рыцарь я?») барон идет на самое страшное злодеяние в глазах людей и Бога. Ведь если бы принесение в жертву сына не было для Авраама сильнейшей мукой, оно не было бы для него и сильнейшим искушением.¹²

И так же, как барон, действует Альбер, принимая вызов старика и собираясь с ним сразиться. В отличие от Исаака, согласного безропотно расстаться с жизнью, дарованной ему отцом, Альбер вообще забыл об этом даре. Он поднимает брошенную ему перчатку со словами:

Благодарю. Вот первый дар отца.

Но этот дар все-таки второй.¹³ Правда, дав сыну жизнь, барон не заплатил за нее ни гроша (ср. замечание Альбера о Делорже: «Его нагрудник цел венецианский, А грудь своя:

гроша ему не стоит...») и не слишком тратился на нее в дальнейшем.

Но если это обстоятельство — достаточная причина для скупца, чтобы в гневе поднять меч на сына, то пристало ли сыну по той же самой причине поднять меч на отца? Нет, конечно. Хотя слова Альбера вырвались тоже в гневе, они не случайны. Не более случайны, чем открытое столкновение, которое в такой же мере логически заключает сложившиеся между отцом и сыном отношения, в какой и выявляет их суть: тайное оно делает явным. Если для Альбера и впрямь ценнее жизни то, что покупается и продается, то он, «заразившись» скупостью однажды, успел, как видим, далеко продвинуться по стопам отца.

Но, может быть, он просто к жизни равнодушен, ведь он рискует ею (более или менее) в каждом поединке? Однако это не так. Если бы блага жизни молодому рыцарю были безразличны (т. е. если бы по складу своего характера он был таким анахоретом, каким в объяснении с герцогом сначала рисовал его барон), то не было бы никакого конфликта — не было бы не то что трагедии, но даже драмы.

Но одушевление борьбы, турниры, все, что с ними связано и их окружает, для Альбера величайшая радость. Как раз угроза ее лишиться переживается рыцарем как унижение и несчастье. Между тем возможностью такого рода удовольствий Альбер обязан отцу. Не будь за спиной молодого рыцаря богатого барона, Соломон никогда не дал бы Альберу на его нужды и развлечения ни копейки. И принадлежи Альбер какому-нибудь другому, не дворянскому, не привилегированному роду, он не только не имел бы удовольствия участвовать в турнирах, но, как знать, может быть даже и издали смотреть на них.

И надо заметить: какой бы тягостной ни казалась Альберу собственная жизнь (ср.: «Проклятое житье!»), он ни минуты не думает добровольно от нее отказаться. Ведь три капли яда, предложенные ростовщиком для убийства отца, могли бы так же «чудно» («...право, чудно, Как действуют они») подействовать на Альбера, исцелив его раз навсегда от всякой скорби и всех забот. Ср.:

В стакан воды подлить — трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.

И затем:

Так дай воды. Проклятое житье!

Стакан воды, принесенный слугой после разговора с ростовщиком, напоминая о яде ничуть не меньше, чем червонцы, подсказывал «безболезненный» выход из мучительного положения. Подсказывал читателю, а не герою. Альбера бросает в холод высказанная ростовщиком мысль об убийстве отца, но ни в жар, ни в холод его не бросает мысль о самоубийстве. Она просто не приходит ему в голову. Свою жизнь, данную ему отцом, Альбер, сам того не сознавая, ценит все-таки гораздо больше, чем чужую.

В состоянии «крайности» он видит для себя один выход — пуститься к герцогу с обвинениями против барона. В состоянии пущей «крайности» (после того как Альбер волей-неволей принужден был выслушать встречные и точно такие же обвинения барона) он поднимает на него руку.

Выходит: отказавшись убить отца подлыми средствами, с помощью низости и коварства, Альбер ничего не имеет против, чтобы убить его в «честном» поединке, пролив кровь более слабого, чем он, и выжившего из ума несчастного скупца. Дистанция между желанием смерти отца и покушением на его убийство была здесь, как выяснилось, весьма короткой. Альбер не «агнец» и не «олень»: как барон, он воинственной и хищной природы (ср. затем слова герцога: «тигренок»).

Вызов на поединок и согласие на него утверждают de facto, что самые важные обвинения (сына против отца и отца против сына), которые выслушал герцог, оказались оправданными с обеих сторон. И барон, и Альбер виновны в покушении на убийство; тот и другой виновны в покушении на ограбление. Ведь если ограбление может означать (и в данном случае означает) убийство, то убийство в любом случае означает наиболее капитальное ограбление. Будучи виновными, оба рыцаря отстаивают свои права (отца, сына), с мечом в руках, требуя от другого исполнения обязанностей, — отец от сына:

Ты здесь! ты, ты мне смел!
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!.. —

и сын от отца:

Благодарю. Вот первый дар отца.

И прежде:

Нет, решено... пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

Оба защищают собственную честь (правдивость, соответствие слов делу, благородство души и незапятнанную совесть): один, только что опорочив честь сына (и перед кем? пред тем же государем), другой, сделав то же самое по отношению к отцу, но несколько раньше и еще раз, вслед за ним.

Поскольку барона и Альбера связывает ближайшее кровное родство, то, позоря друг друга, каждый из них позорит себя.¹⁴

Тот и другой взывают к справедливости. Но у отца нет никакого снисхождения к естественным запросам молодости, у сына — никакого снисхождения к старости отца. Не испытывая ни любви, ни сострадания, тот и другой пренебрегают своим долгом. Не только по отношению друг к другу, но и к государю. Барон отказывается повиноваться герцогу. Он не собирается отпускать сына ко двору и назначать ему какое бы то ни было «содержанье». Более того, он тут же, при герцоге, готов решительно покончить с сыном — с законным и единственным наследником родового имени, титула, имущества, прав, с тем, кто должен был продолжить его жизнь (дела и подвиги) на земле и позаботиться о благополучии его души в своих молитвах.

Барона не интересует мнение государя, и он не нуждается в его суде и посредстве. Не позови герцог рыцаря к себе, тот никогда бы к нему не поехал. Альбер является к герцогу без приглашения с настоятельной просьбой о суде и посредстве, с просьбой, которую он, как выясняется, высказывает лишь для того, чтобы о ней не вспомнить. Как и отец, он не считает себя связанным ни принятыми нормами придворного этикета, предписывавшими благоразумную сдержанность и учтивость, ни необходимостью повиноваться государю. Ср.:

Подите ж
В ту комнату. Я кликну вас.

Затем:

(Альбер бросается в комнату.)

Альбер.

Барон, вы лжете.

Герцог *(сыну)*.

Как смели вы?..

Выскочив раньше времени и без призыва, Альбер не просто махнул рукой на приличия и придворный этикет, выказав

заодно и «дикий нрав», и отсутствие нравственной щепетильности (ведь было ясно, что он подслушивал разговор), но и прямо нарушил приказ герцога и, бросив на него сомнительную тень, заставил отца подозревать сговор между ним и сыном (ср. восклицание барона: «Ты здесь!»).

Поэтому, бросая вызов Альберу, барон косвенно бросал вызов и герцогу. Свое мнение, свой интерес, как он его понимает, Альбер, не задумываясь, предпочел мнению и интересу государя. Между тем забота герцога если и не целиком сводилась к тому, чтобы помочь удовлетворению желаний и нужд молодого рыцаря, то ни в коем случае не шла с ними вразрез. Ведь государь для того и вызвал барона, чтобы приблизить к себе Альбера, которого, как видно, действительно заметил и в последнем турнире, и за праздничным столом.

Вопреки отговорке Альбера («Отговорился Я тем, что на турнир попал случайно»), герцог, разумеется, догадался о причине появления рыцаря в латах там, где пристойнее было бы атласное и бархатное платье. Никакого сговора между молодым рыцарем и государем не было: герцог легко поверил жалобе Альбера, так как она совпадала с его догадкой. Правда, Альбер, услышав слова «...так я суду Его предам, как черного злодея», и затем новое обвинение барона, мог предположить (и в горячке, конечно, так и сделал), что настойчивость отца в конце концов убедит герцога в оправданности этих обвинений.

Поскольку герцог и отец в воображении Альбера объединились на тот момент в общем враждебном к нему отношении, он, принимая вызов отца, косвенно тоже бросал вызов герцогу. Отец числил государя на стороне сына, сын — на стороне отца. Оба ошибались и оба, как ни смешно, были правы. Герцог был на стороне и того, и другого, но не ради вражды, а ради мира.

Забота герцога об интересе каждого из рыцарей определялась его собственным державным интересом и благом государства. Но в результате неожиданной выходки Альбера, заставлявшей по-новому на него взглянуть, герцогу едва удалось предотвратить убийство. Тайный поединок между отцом и сыном давал преимущества отцу, наделяя его огромной силой и возможностью пировать и бражничать, несмотря на воду и сухие корки, тогда как сын был обречен на жалкое, ущербное прозябание, на старческую немощь.

Явный поединок давал преимущества сыну, возвращая немощь — старости и молодости — силу. Ситуация оказалась более серьезной, чем представлялось герцогу вначале. Она не оставляла места бездумному веселью.

Герцог.

Что видел я? что было предо мною?
Сын принял вызов старого отца!
В какие дни надел я на себя
Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец,
И ты, тигренок! полно. (*Сыну.*) Бросьте это;
Отдайте мне перчатку эту (*отымает ее*).

Альбер (*a parte*).

Жаль.

Герцог.

Так и впился в нее когтями! — изверг!
Подите: на глаза мои не смейте
Являться до тех пор, пока я сам
Не призову вас. (*Альбер выходит.*)
Вы, старик несчастный,
Не стыдно ль вам...

Негодование герцога не вызывает раскаяния ни у сына, ни у отца. Ср. слова Альбера, без всякой охоты отдающего перчатку («Жаль»), и слова барона в ответ на попытку герцога его «усоветить»:

Простите, государь...

Стоять я не могу... мой колени
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?
Ключи, ключи мои!..

Старик по-прежнему не желает оставлять их сыну. Разумеется, не барону, уже знакомому с муками Страшного суда, усоветиться от чьих бы то ни было упреков. Не наставления молодого государя, такого же «безумца» и «расточителя», как Альбер, и «буйствующего» в тех же «пороках», могли разбудить совесть скупца. Да ее и нельзя разбудить, ведь в действительности она никогда не засыпала. Как раз ее страданиями барон и «выстрадал» свое богатство, от которого (если исполнится его молитва) его не способна оторвать даже смерть. Несмотря на выслушанный урок, отец и сын не помышляют об уступке и леденеют в прежнем ожесточении:

Герцог.

Он умер. Боже!
Ужасный век, ужасные сердца!

Хотя поединок не состоялся, Божий суд «грянул» — немедленно и безвозвратно для старого рыцаря, с некоторой

отсрочкой и в виде неотвратимой угрозы — для молодого. Ведь наследство, которое Альбер теперь получит, навсегда отравлено в его глазах и смертным грехом, и несмываемым позором обстоятельств гибели отца. Его тень будет стеречь отныне и сокровище, и каждый золотой если не от всех живых, то безусловно — от родного сына.

Но для торжества какой истины отец и сын, упорствуя во вражде, намерены сразиться да и сражаются насмерть? Во всяком случае не той, которую они, как кажется, защищают (потому что ни тот, ни другой не могли бы по совести утверждать абсолютную беспочвенность выдвинутых против каждого из них и одних и тех же обвинений), а той, в которой они не осмеливаются вслух признаться, так как правда заключается в том, что отец готов убить сына, чтобы не дать ему ничего из своих сокровищ, а сын готов убить отца, чтобы получить из них хоть что-нибудь.

Оба сражаются за деньги, являющиеся для них наивысшим благом. Вот и все. Умалчивая об этой истине, тот и другой (как это ни смешно в данной ситуации) волей-неволей вынуждены отстаивать и ложь. А вместе с ней свой позор и бесчестье. Ведь защищая рыцарскую честь, барон и Альбер действуют в вопиющем противоречии с рыцарской присягой, забыв о милосердии и доброте, о повинности и верности сеньору, о священной обязанности исполнять и охранять заповеди Евангелия и законы государства. Покушение на детубийство, с одной стороны, и отцеубийство — с другой, — самое черное злодейство, какое только можно вообразить. Оно далеко выходит за рамки даже не рыцарской, а всякой нормы. Ср. слова, сказанные герцогом барону («безумец») и Альберу («тигренок», «изверг»).

Одержимые гневом, барон и Альбер обходятся без посредства герцога и его суда. Следовательно, каждый из них в этой расправе не только истец и одновременно ответчик, но и судья. Смертный приговор, который они друг другу выносят, хотя благодаря вмешательству государя он и не был исполнен, их личной волей и убеждением не отменен. Он согласован с понятиями героев о праве и справедливости.

Однако всякое право (самое неограниченное) сопряжено с выполнением известных обязанностей и всякая справедливость, соединяя права и обязанности, опирается на писанный и неписанный закон.

Надо заметить, что средневековые вообще склонно было толковать право как сумму обязательств: «Само слово „droit” в XI—XIV веках в основном означало право как совокупность взаимных обязанностей, определяющих утвержденные

в обществе отношения между людьми, а также и отношения людей с божеством. Считалось, что, выйдя из рук Творца, человек имел полное право на свободные поступки, после же грехопадения был лишен этого первоначального права. От последнего остался лишь обломок, употребляемый в значении долга (*devoir*), который необходимо выполнять.

На таком понимании права основывалось оправдание иерархического строя общества. Хотя природа сделала всех людей равными, писал еще в XI веке Григорий Великий, существует в ней все же „скрытое распределение“, при котором одни поставлены над другими „по разности заслуг“. Этот тезис в XIII веке развивал Фома Аквинский: „Совершенство Вселенной требует, чтобы в вещах присутствовало неравенство, дабы осуществились все ступени совершенства“. Все равны перед Богом в том смысле, что каждый выполняет предназначенные ему обществом обязанности: крестьянин служит своему господину, вассал — сеньору, все вместе — королю. Равенство перед Богом не означает социального равенства — и в этом главное отличие средневекового права от права буржуазного. В этой части пролога (французского перевода Библии конца XIII века, снабженного комментариями и чрезвычайно популярного на протяжении XIV—XVI веков. — *В. В.*) выражено единство морального и юридического закона — одной фразой автор (Гийар де Мулэн, каноник церкви св. Петра в Эре, переводчик и комментатор этой Библии. — *В. В.*) утверждает разошедшиеся позднее вещи.¹⁵

Эта фраза («*il donne à chacun son droit*») в соответствии с двойственным смыслом слова «*droit*» сохраняет оба значения: «...он (Бог, король. — *В. В.*) дарует каждому его права» и (или) «он определяет каждому его обязанности».¹⁶

И далее: «Бог в труде каноника из Эра, являющийся строителем, повелителем и владельцем земли, представляется феодальным сеньором, увенчанным королевскою короною. Гийар величает его сиром — титулом, дававшимся королям (...) во Франции. Дворец — жилище его, как и любого земного короля и императора, — место, где решаются судьбы мира. Королевская власть (и, добавим, всякая власть, признанная системой феодальных отношений. — *В. В.*), таким образом, освящена Богом, имеет божественное происхождение, а потому несокрушима и неизменна. Подданные обязаны повиноваться повелениям властелина, от милости которого зависят все их права (обязанности), — но милость эту возбранялось требовать».¹⁷

Писанные и неписанные нормы феодального общества связывали людей взаимными обязанностями, начиная с семьи и кончая церковью и государством. Справедливость заключалась в строгом исполнении долга любым и каждым — в частной жизни и на всех ступенях иерархического порядка, предполагавшего возрастающую степень «заслуг» и «совершенства» и общую необходимость повиновения самому высокому сеньору, Господу Богу.

В сознании барона и Альбера права и обязанности уже существуют раздельно. При этом права каждый из них оставляет за собой, обязанности же возлагает на другого. В чем обвиняет барон сына, бросая ему перчатку? Ср.:

(...) ты, ты мне смел!..
Ты мог отцу такое слово молвить!..
Я лгу! и перед нашим государем!..
Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

Он обвиняет в нарушении принятых норм поведения и морали, в дерзости, в отсутствии сыновней почтительности, в клевете и унижении достоинства рыцаря и отца — унижении тем более оскорбительном, что ссора происходит не наедине, не с глазу на глаз, а перед государем.

Но, требуя от сына подобающих чувств, барон в то же время снимает с себя ответственность отцовства. Взывая к благородству, он сам же и лишает сына чести, уравнивая положение молодого рыцаря с положением какой-то мыши. Но с мыши что спрашивать? какого благородства от нее ждать?

Альбер, в свою очередь, требует отцовского попечения, будучи не лучшим сыном. Он обвиняет отца во лжи, но не должен был бы это делать. Ведь он действительно жаждет смерти отца и уже сейчас подпольно, тайно его грабит, оплачивая свои удовольствия и нужды хотя и через посредство ростовщика, но все-таки из отцовских сокровищ. И отец и сын хорошо помнят только о своих правах. А так как каждый из них, отстаивая эти права, пренебрегает своим долгом и так как оба не знают узды и удержу ни в законах родства, ни в законах религии, ни в законах исповедующего эту религию государства, то их «право» целиком определяется личным желанием, а их «справедливость» допускает грех и преступление, если они потворствуют этому желанию и прикрыты благовидным покровом (в виде нравственной несостоятельности сына в глазах отца и отца в глазах сына). Иначе говоря, она оправдывает своеволие и на месте любого закона утверждает произвол.

Но в таком случае вообще не может быть речи о справедливости. Тот, кто считает ее требования слишком обременительными для себя, напрасно надеется, что они окажутся менее обременительными для другого: смешно ждать почтительности от сына, не исполняя обязанностей отца, и точно так же: смешно ждать отеческой заботы, нарушая сыновний долг и прибегая к принуждению.

По сути дела тут не может быть речи и о правах. Поскольку право одного сплошь и рядом несовместимо с правом другого (так, сын отрицает право отца держать его на скудном «содержанье»; отец отрицает право сына претендовать на большой достаток), то в этой вражде взаимоисключающих претензий, не ведающей о милосердии и уступке, все права сводятся в конце концов к одному — праву силы:

Так подыми ж, и меч нас рассуди! —

т. е. сводятся к воинствующему, дикому бесправью, не желающему знать никаких ограничений нравственного, религиозного, да и всякого порядка. Ведь для того, чтобы действовать с позиций силы, вообще не нужно быть людьми. В этой ситуации любые ограничения (писаных и неписаных законов), любой запрет (совести, традиционных верований и морали), обуздывающие произвол эгоистических вожделений и регулирующие частные и общественные отношения, теряют смысл и цену. За исключением денег, как раз и обеспечивающих осуществление этих вожделений, все остальные ценности нематериальной, не переводимой на деньги природы естественным образом и неизбежно уходят в область предрассудков. Это и показано Пушкиным в маленькой драме.

В перспективе власть и сила золота, упраздняя любые и всякие «предрассудки», возвещают торжество варварства. Какими бы политическими и культурными формами эта власть и сила ни прикрывались, они оправдывают войну всех со всеми и каждого против всех. Реальная мера дозволенного (при том, что в принципе здесь дозволено все) определяется в конце концов мерой денег: чем больше денег, тем больше и дозволено.

Вот почему там, где царствует золото, где оно (уже не в частностях, а во всеобщем масштабе) признается высшим благом, действие законов, подавляющих своеволие, распространяется только на обездоленных. Это грозит взрывами народного негодования, когда возмущенное чувство направляет свои удары прежде всего против богатства и, низведя, в свою очередь, все его преимущества на степень пред-

рассудков, большей или меньшей кровью стремится утвердить истинную ценность — ценность жизни. Такова логика вещей, таково европейское будущее, на которое недвусмысленно намекает семейная драма, в облике рыцарского поединка демонстрирующая самое неутешительное содержание.

¹ См.: *Ветловская В. Е.* Проблемы Нового времени в понимании Пушкина. Тема денег в трагедии «Скупой рыцарь» // *Литература и история (Исторический процесс в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII—XX вв.)*. СПб., 1997. Вып. 2. С. 60—92.

² Ср. подробную и утрированную разработку сходного мотива у Сервантеса в сценах посещения Дон Кихотом и Санчей Пансой замка герцогской четы.

³ *Шопенгауэр*. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990. С. 59.

⁴ Поэтому нельзя согласиться с утверждением Шопенгауэра, будто рыцаря не заботит истинное мнение, что его честь задевает только смысл произнесенных слов, свободных и от внутреннего убеждения, и от фактов (см.: Там же. С. 58 и сл.). Если это утверждение и верно для отдельных случаев и на стадии вырождения рыцарских понятий, то оно несправедливо для всех случаев и по существу. Одно дело — возможная неблаговидная практика, другое дело — нравственное правило, принятая норма.

⁵ Ср.: «Барон был подлинным феодалом, воином, человеком меча и верности в молодости, когда он, видимо, не думал о сундуках с дублонами. Ведь мы узнаем о нем, что тогда, в молодости, несколько десятков лет назад, он вовсе не сидел в своем замке над сундуками (...) Как рыцарь он служил своему сюзерену, государю, — служил мечом, и он был, без сомнения, великолепен на своем боевом коне, в полном вооружении воина, весь пропитанный культом битв, приносивших тогда и честь, и славу, и власть» (*Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 313).

⁶ Б. П. Городецкий ошибся, говоря, что «сын бросает перчатку отцу, а тот принимает вызов сына» (*Городецкий Б. П.* Драматургия Пушкина. М.; Л., 1953.

С. 275). У Пушкина дело обстоит как раз наоборот: сын принимает вызов отца. Такая последовательность действий соответствует характеру распри, в которой отношение отца к сыну играет ведущую роль.

По наблюдению проф. Ю. П. Малинина, глубокого знатока западного Средневековья, этот эпизод пушкинской драмы воспроизводит (в преображенном виде) некоторые детали тяжбы старого герцога Гельдернского и его сына Адольфа, описанной Филиппом де Коммином. Вот его рассказ: «В этот сезон (июнь—июль 1473 г. — *В. В.*) герцог Бургундский отправился завоевать область Гельдерн в связи с тяжбой, которая достойна того, чтобы о ней поведать, дабы показать, сколь всемогущ Господь.

Был тогда молодой герцог Гельдернский по имени Адольф, женатый на одной из дочерей из дома Бурбонов (...) а женился на ней в доме Бургундского герцога, почему и пользовался некоторым его благоволением.

Он совершил страшный поступок: однажды вечером схватил своего отца, когда тот собирался идти спать, провел его босым в очень холодную пору пять немецких лье, заключил в подвал башни, куда почти совсем не проникал свет, кроме как через слуховое окошко, и продержал его там пять лет; из-за этого вспыхнула война между герцогом Клевским, на сестре которого был женат пленный герцог, и этим молодым герцогом Адольфом. Герцог Бургундский несколько раз пытался их примирить, но безуспешно. В конце концов к этому приложили руку папа и император, и герцогу Бургундскому было велено любыми средствами освободить герцога Арнольда из тюрьмы. Он так и сделал, ибо молодой герцог не осмелился ему отказать, видя, сколь многие важные лица вмешались в

это дело, и боясь герцога Бургундского. Я несколько раз видел, как они спорили в зале на заседании большого совета и как добрый старик вызывал своего сына на поединок. Герцог Бургундский очень хотел их примирить, испытывая симпатию к молодому. Последнему был предложен пост губернатора, или управителя, области Гельдерн со всеми доходами, за исключением маленького городка Граве, лежащего близ Бранта, который вместе с доходами от него должен был остаться у отца, который получил бы еще и 3 тысячи флоринов пенсии.

Таким образом, у отца остался бы доход в 6 тысяч флоринов и титул герцога, как и положено. Вместе с другими, более опытными людьми меня отправили передать это предложение молодому герцогу, который ответил, что предпочел бы бросить своего отца вниз головой в колодец, с тем чтобы и его самого сбросили туда же, нежели заключать такое соглашение, ибо его отец пробыл герцогом 44 года — так пора уже и ему стать герцогом; но что он охотно даст ему 3 тысячи флоринов в год при условии, что он более не появится в герцогстве. Он наговорил еще много другого, столь же безрассудного.

Случилось это как раз тогда, когда король захватил Амьен у герцога Бургундского, находившегося с теми двумя, о которых я рассказываю, в Дуллане. Озабоченный своим положением, герцог поспешил в Эден и забыл об этом деле. Тогда молодой герцог, переодевшись французом, бежал в сопровождении одного спутника в свои земли. Переправляясь через реку возле Намюра, он заплыл на переправу один флорин. Его заметил некий священник, у которого зародились подозрения, и он переговорил об этом с извозчиком. Тот всмотрелся пристально в лицо того, кто заплыл флорин, и узнал его; его схватили и отвезли в Намюр, где он и пробыл в заключении до смерти герцога Бургундского, пока его не освободили гентцы. Они хотели его женить на той, которая впоследствии стала герцогиней Австрийской, и повели с собой в Турне; там он, лишенный охраны, был злодейски убит — Господь, видимо, не считал его пребывание в тюрьме

достаточным отмщением за оскорбление, нанесенное им отцу.

Отец его умер еще до кончины герцога Бургундского, когда сын находился в тюрьме; умирая, он ввиду неблагодарности сына оставил все наследство герцогу Бургундскому. Воспользовавшись этой распрей, герцог Бургундский (...) завоевал герцогство Гельдерн (...) и владел он им до самой смерти, а наследники его еще и по сей день его держат, и так будет, пока угодно Богу. А рассказал я об этом, как предупреждал вначале, чтобы показать, что подобные жестокости и злодеяния не остаются безнаказанными» (*Филипп де Коммин. Мемуары / Перевод, статья и примеч. Ю. П. Малинина. М., 1986. С. 124—125.*)

⁷ *Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. С. 59—60.* Поясняя принцип рыцарской чести, с которым Шопенгауэр воюет как со смешной и дикой нелепостью (по его мнению, ложь слишком обыденна среди людей, чтобы из-за нее стоило проливать свою или чужую кровь), философ пишет, что возникновение этого принципа («порождения высокомерия и глупости») «мы обязаны (...) феодализму, при котором каждый дворянин мнил себя сувереном и поэтому не признавал над собою никакого суда; он привык верить в полнейшую неприкосновенность, святость своей личности, и всякое покушение на нее, всякий удар, всякое бранное слово касалось его преступлением, заслуживающим смерти (...)» Хотя дуэль и возникла из ордалий, но все же эти последние являются не причиной, а следствием, — проявлением принципа чести: не признавая людского суда, человек апеллировал к Божьему. — Ордалии свойственны не только христианству; они встречаются и у индусов, хотя главным образом в древние времена; впрочем, следы их остались там и поныне» (Там же. С. 65). Вопреки утверждениям Шопенгауэра, надо сказать, что дуэль и ордалии (как Божий суд) в своей предистории, уходящей в языческую древность, не имеют никакого отношения к феодальной принципам чести. Божий суд в виде испытания водой, огнем, мечом и т. д. известен самым разным народам. Не обычай Божьего суда пристро-

ился к принципу чести, а принцип чести пристроился к древнему обычаю. Божий суд (в любых его формах) явился на почве глубокой веры в божественную справедливость и заинтересованность высших сил в человеческой судьбе. Не презрение к людскому суду, а стремление согласовать его с высшей волей вызвало к жизни эту апелляцию к Богу. Шопенгауэр в данном случае поясняет не принцип чести (тем более — не обычай в целом), а только поздние и частные его проявления. Строгая иерархия феодальных отношений отнюдь не делает «каждого дворянина» «сувереном», не признающим над собой «никакого суда» (иначе не существовало бы вассалитета); в действительности суверенным правом при феодализме обладает только носитель верховной власти (ср. абсолютный монарх).

⁸ Ср.: «...главным доказательством истины посредством чуда служил так называемый Божий суд. „Бог на стороне правого” — эта прекрасная формула узаконивала один из самых варварских обычаев Средневековья. По-видимому, для того, чтобы шансы не были слишком уж неравными с земной точки зрения, слабым (...) разрешалось находить себе замену. Борцы-профессионалы, которых моралисты осуждали как наихудших наемников, подвергались испытанию вместо них» (*Гофф Жак Ле. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1992. С. 307.*)

В 1215 г. ордалии были запрещены IV Латеранским собором (там же. С. 322). Несмотря на запреты церкви и светских властей, ордалии в форме поединка продолжали бытовать в практике европейских народов вплоть до сравнительно недавнего времени (дуэль). Ср. также: *Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. С. 64.*

⁹ Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991. С. 66.

¹⁰ В «Слове о блаженном Аврааме» Иоанн Златоуст говорит: «И нужно было видеть Исаака, мученика живого и уже неживого, умершего и еще не умершего. По намерению отца он умер, а по человеколюбию Божию не умер. Он был прообразом и подобием Владыки (...) сын тро-

гает сердце отца (...). Что он говорит? *Отче*. Представь, каково это слово: *отче*. Ведь и мы, когда хотим заколоть ягненка или какое-нибудь другое животное и слышим его блеющего и взывающего к нам тихим, хотя и не членораздельным голосом, жалеем его и оказываем сострадание. Представь же, что сделала бы эта овца, если бы сказала слабому человеку: *отче, се огонь и дрова, где есть овца, еже во всесожжение (...)* А здесь сам говоривший был в мыслях отца этою овцою, возбуждавшею в жреце сострадание» (Творения св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. СПб., 1896. Т. 2. Кн. 2. С. 277—278).

¹¹ Ср., напр., рассказ о триумфе Аврелиана: «Была еще одна колесница, запряженная четырьмя оленями; она, говорят, принадлежала царю готов. На ней, как передают многие, Аврелиан въехал на Капитолий, чтобы там заклать оленей; говорят, что он захватил их вместе с колесницей и посвятил Юпитеру всеблаговому и величайшему». У кельтов, иллирийцев и германцев олень был связан с культом Солнца и его золотой атрибутикой (см.: *Флавий Вониск Сиракузянин. Божественный Аврелиан // Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. М., 1992. С. 281—282, 375.*)

¹² Ср. у Иоанна Златоуста («Слово о блаженном Аврааме»): «Представь же, что чувствовал Авраам, когда Исаак, которого он намеревался заклать, называл его: *отче*. Как не распались его колена? Как не сокрушились его члены? Как не смутился в уме (...)? О, десница, вооруженная против сына! Не знаю, как изобразить словом это событие. Как не оцепенела рука? Как не выпал нож из руки? Как он весь не ослабел и не изнемог? Как он мог стоять и смотреть на связанного Исаака? Как он тотчас же не пал мертвым? Как продолжали служить ему нервы? Как оставался в действии ум? Не знаю...» (Творения св. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. С. 276).

¹³ Своеобразно истолкованный Пушкиным мотив восходит к «Скупому» Мольера. Об этом мотиве у Мольера и в

критических отзывах об его пьесе см.: *Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 270—274, 277.

¹⁴ Даже искренние жалобы Альбера (начало 3-й сцены), обнажая перед герцогом срам отца, напоминают библейский рассказ о Ное и его сыновьях (Бытие. Гл. 9. Ст. 20—25) и бросают неблагоприятную тень на молодого рыцаря.

¹⁵ *Неретина С. С.* Образ мира в «Исторической Библии» Гийара де Мулэна // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 114. «Историческая Библия» часто переиздавалась. «Она была учебником, хрестоматией

во французских школах, ее добропорядочность не подвергалась сомнению» (там же. С. 108). Что касается Гийара де Мулэна, поясняет С. С. Неретина, то этот «образованнейший, думающий человек, знакомый со многими высокоучеными сочинениями, известными в его время», ценен прежде всего тем, что в своем труде «пытается многие мысли „осреднить“, благодаря чему обнажаются общесредневековые (...) мировоззренческие установки» (там же. С. 110).

¹⁶ Там же. С. 113—114.

¹⁷ Там же. С. 115.